

Леонид Андреев

Весенние обещания



Леонид Николаевич Андреев

Весенние обещания

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146613

Аннотация

«Кузнец Василий Васильевич Меркулов был строгий человек, и когда по праздникам он напивался пьян, то не пел песен, не смеялся и не играл на гармонии, как другие, а сидел в углу трактира и молча грозил черным обожженным пальцем. Грозил он и трактирщику за стойкой, и посетителям, и слуге, подававшему водку и жареную рыбу; приходил домой и там продолжал грозить пустой хате, так как уже давно жил один...»

Содержание

I	4
II	10
III	17
IV	24

Леонид Андреев

Весенние обещания

I

Кузнец Василий Васильевич Меркулов был строгий человек, и когда по праздникам он напивался пьян, то не пел песен, не смеялся и не играл на гармонии, как другие, а сидел в углу трактира и молча грозил черным обожженным пальцем. Грозил он и трактирщику за стойкой, и посетителям, и слуге, подававшему водку и жареную рыбу; приходил домой и там продолжал грозить пустой хате, так как уже давно жил один. В споры и брань с ним не вступали, так как от смешной угрозы он легко переходил к жестокой и кровавой драке; при своих пятидесяти годах был очень силен, и узловатый черный кулак его падал на головы, как молот. И с виду он был еще очень крепок – худощав, но жилист и высок ростом; и ходил гордо: грудь выпирал вперед, а ноги ставил прямо, не сгибая колен, точно вымерял улицу циркулем.

Жил он, как и все в Стрелецкой слободе, не хорошо и не плохо, и никто не думал о нем и не замечал его жизни, так как у всякого была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новых людей мало приходило в слободу, заброшенную на край

города, и все обитатели ее привыкли друг к другу и не замечали, что время идет, и не видели, как растет молодое и старится старое. Время от времени кто-нибудь умирал; его хоронили и день-два тревожно переговаривались об его неожиданной смерти, а потом все становилось так, словно никто и не умирал, и казалось, будто покойник продолжает еще существовать среди живых, или же что здесь совсем нет живых, а только покойники. Жили на Стрелецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существование боролись равнодушно и вяло, – как больные, у которых нет аппетита, вяло и равнодушно переругиваются из-за лишней тарелки невкусного больничного супа.

Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, там, где начинался берег реки Пересыханки. Берег был изрыт ямами, в которых брали глину и песок; река была мелкая, и летом через нее ездили вброд на тряских, пахнущих дегтем, телегах мужики из соседней деревни. Кузница Меркулова помещалась в землянке, и на землянку похожа была и хата, у которой кривые окна с радужными от старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченные столбы для ковки лошадей; и они были старые, бессильно погнувшиеся, а их глубокие продольные трещины походили на глубокие старческие морщины, проведенные долгой и суровой жизнью. Один столб уже два года качался. Меркулов, проходя мимо него пьяный, сурово грозил ему пальцем, но больше ничего не делал, чтобы укрепить

его.

Пять месяцев в году Стрелецкая слобода лежала под снегом, и вся жизнь тогда уходила в черные маленькие хаты и судорожно билась там, придушенная грязью, темнотой и бедностью. Сверху все было девственно бело, глухо и безжизненно, а под низкими потолками хат с утра плакали дети, отравленные гнилым воздухом, ругались взрослые и колоутились друг о друга, бессильные выбиться из тисков жизни. И всем было больно. Так же нехорошо и темно было в занесенной хате Меркулова, и все в ней было кривое, черное, грязное той безнадежной грязью, которая въелась в дерево и вещи и стала частью их. Один угол покосился, и окно в нем стояло как-то нелепо, боком, а потолок был черный от копоти, и вместо всяких украшений на стене были наклеены цветные этикетки от бутылок: «Наливка киевская вишневая». Работы зимой было мало, и тяжелым сном проходила одинокая жизнь Меркулова среди кривых стен под черным низким потолком. Он спал, сколько мог, а когда сна не было, лежал и с суровым недоумением и вопросом вглядывался в свою жизнь. Бледными тенями проходило прошлое, и было оно простое и странное до ужаса, и не верилось тому, что в нем заключена вся жизнь его, а другой жизни нет и никогда не будет. Была жена и умерла от холеры, и лица ее не может вспомнить Меркулов, как будто никогда не существовала она в действительности, а только приснилась. Были и дети: один сын долго хворал, измучил всех и умер, дру-

гой пошел в солдаты и пропал без вести. Осталась одна дочь, Марья; она была замужем за пьяницей, сапожником на Стрелецкой, и часто прибегала к Меркулову жаловаться, что муж бьет ее: была она некрасивая и злая; тонкие губы ее дрожали от горя и злости, а один глаз, заплывший синяком, смотрел в узенькую щель, как чужой, печальный и ехидный глаз. Она кричала на всю улицу и бранила мужа; потом начинала бранить отца и называла его пьяницей, а соседские бабы и ребята заглядывали в окна и двери и смеялись. И это была вся его жизнь, а другой нет и никогда не будет.

И он лежал под черным потолком и думал, а на дворе тихо и покорно угасал короткий зимний день. В хате становилось темно, и Меркулов выходил на улицу: безлюдная и глухая, словно вымершая, она тихо лежала под снегом и была точно отражением безжизненного тусклого неба. И между ней и этим однотонно-серым и угрюмым небом быстро нарастала осторожная молчаливая тьма. На колокольне Михаила Архангела благовестили к вечерне, и казалось, что с каждым протяжным ударом на землю спадает мрак. Когда колокол без отзвука умолкал, на всей земле уже стояла покойная немая ночь. Мимо Меркулова, по направлению к реке, проехал на розвальнях мужик. На минуту мелькнула лошаденка, потряхивавшая головой, мужик с поднятым воротом, привалившийся к передку саней, – и все расплылось в глухой тьме, и топота копыт не слышно было, и думалось, что там, куда поехал мужик, так же все скучно, голо и бед-

но, как и в хате Меркулова, и стоит такая же крепкая зимняя ночь. Вложив руки в карманы штанов, опершись на одну ногу и отставив другую, Меркулов с угрюмым вопросом смотрел на небо, искал на нем просвета и не находил. Был он высок и черен и в своей неподвижности напоминал один из черных столбов кузницы, до самой сердцевины изъеденных временем и жизнью.

Если случались деньги, Меркулов одевался и уходил в город, в трактир «Шелковку». Там он впивал в себя яркий свет ламп и такой же яркий и пестрый гул трактира, слушал, как играет орган, и сперва довольно улыбался, открывая пустые впадины на месте передних зубов, когда-то выбитых лошадю. Но скоро он напивался, так как был на водку слаб, начинал хмуриться и беспокойно двигать бровями и, поймав на себе чей-нибудь взгляд, многозначительно и мрачно грозил обожженным черным пальцем. Орган, торопливо захлебываясь и шипя, вызванивал трескучую польку; Меркулову казалось, что он не играет, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужного веселья, и от этого становилось обидно, грустно и беспокойно. Он грозил блестящим трубам и непреклонно бормотал:

– Не позволю, чтобы так играть. По какому праву? Нет у тебя права, чтобы так играть. Не позволю.

Когда в одиннадцать часов трактир запирали, Меркулов, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шел домой и перед своей хатой останавливался в тяжелом

недоумении и гневe.

– Моя хата, – говорил он, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжелевшие веки. – Не позволю, чтобы так криво стояла.

Потом, мотая головой на ослабевшей шее, блуждая взорами по окружающему, отыскивал на небе то место, куда смотрел вечером, тяжело поднимал руку и грозил согнутым пальцем, не в силах от хмеля распрямить его.

– Не позволю, чтобы так все. По какому праву?

И засыпал он с угрюмо сведенными бровями и готовым для угрозы пальцем, но хмельной сон убивал волю, и начинались тяжелые мучения старого тела. Водка жгла внутренности и железными когтями рвала старое, натрудившееся сердце. Меркулов хрипел и задыхался, и в хате было темно, шуршали по стенам невидимые тараканы, и дух людей, живших здесь, страдавших и умерших, делал тьму живой и жутко беспокойной.

II

Началось это на третьей неделе великого поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утром Стрелецкая слобода проснулась в дымчатом, пахнущем гарью тумане, мягком и теплом, а когда туман рассеялся, воздух стал ясный и светлый, и ни на чем не было теней. И словно от земли, от крыш и домов отпало что-то железное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: снег, навоз и дома. У бондаря Гусева пекли хлеб, и по всей улице стоял домовитый приятный запах теплого хлеба. Как полированные, блестели по дороге широкие следы деревянных полозьев с крапинками золотистого лошадиного навоза, кричали выползавшие из хат ребята, и со звонким лаем носились собаки за тяжелым вороньем, грузно приседавшим над черными пятнами старых помоев. И дышалось легко и вольно.

Так в нерешимости несколько дней стояла Стрелецкая, а потом солнце взошло на чистом и глубоком небе, и снег начал плавиться с удивительной быстротой, как на огне. Во всех углублениях сбиралась пахучая снежная вода, и бабы перестали ходить на реку: в садах и огородах они выкапывали глубокие ямки, и на дне их, среди рыхлых снежных стенок, собиралась вода, прозрачная и холодная, как в ключах. Все меньше становилось снега и все больше воды; тепло и радостно светило солнце, и в лучах его блестел и сверкал

тающий нежный покров. Блестала белым огнем каждая капля воды, и если стать против солнца, то казалось, что вся земля зажглась в одном ослепительном сиянии, и больно было отвыкшим от света глазам. А в голубом небе было спокойно и торжественно ясно, и, когда Меркулов из-под руки смотрел на него, лицо его, еще пылающее жаром раскаленного горна, становилось трепетно-напряженным, и в редких усах безуспешно пряталась стыдливая улыбка. Он долго стоял на своих негнущихся ногах, смотрел и слушал и всем телом своим чувствовал то глубокое и таинственное, что происходило в природе. Не мертвый, как зимой, а живой был весенний воздух; каждая частица его была пропитана солнечным светом, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому, обожженному лицу его осторожно и ласково бегают крохотные детские пальчики, шевелят тонкие волоски на бороде и в резвом порыве веселья отделяют на голове прядь волос и раскачивают ее. Он приглаживал волосы шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и в седирах ее сверкало солнце.

И все, что было вокруг: далекое спокойное небо, ослепительное дрожание водяных капель на земле, просторная сияющая даль реки и поля, живой и ласковый воздух – все было полно весенних неясных обещаний. И Меркулов верил им, как верят весне все люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Пятидесятую весну встречал он, а была она нова и радостна, как первая весна его жизни. Весь великий

пост Меркулов много работал, и новое чувство покорности и тихого ожидания не оставляло его. Он покорно принимал тяжелую работу, покорно принимал грязь, тесноту и мучительность своей жизни и в черную хату свою с кривыми углами входил, как в чужую, в которой недолго остается побыть ему. И как что-то новое, доселе невиданное, изучал он черные прокопченные потолки, паутину на углах, покатые полы с прогнившими половицами, изучал с серьезным и глубоким равнодушием постороннего человека. Все с тем же чувством кроткой покорности и смутного сознания, что нужно выполнить какой-то долг, Меркулов весь пост не пил водки, не бранился и питался только черным хлебом и водой. И в воскресенье не шел в трактир, как обычно, а с сосредоточенным и торжественным лицом сидел около своего дома на лавочке или журавлиным шагом прохаживался по Стрелецкой и смотрел, как играют ребята.

А детей было много на Стрелецкой, и нельзя было понять, куда прячутся они зимой, такие живые, громкие и неудержимые. Как мухи на солнце, они бегали, ползали, кружились, и каждый в своей живой подвижности походил на троих, а смех их был как неумолчное жужжание. И тут же вертелись собаки, расхаживали озабоченные куры, и на привалинке грелись белые тощие кошки, и все это жило шумной, беспокойной и веселой жизнью. На солнечной стороне под забором уже слегка зеленела трава, и по ней, без призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавший ходить. Его

уже испугала собака, потом воробей, он долго и громко плакал, но прилетело откуда-то белое и легонькое перышко и село поблизости, шевелясь и собираясь с силами для нового полета. И он старался накрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормотал:

– Голубосек. Миленький. Подозди.

Но перышко поднялось и улетело, и он опять вспомнил страшного вертлявого воробья и заплакал. Подошла девочка немного побольше, чем он, в больших материнских башмаках, наклонилась, опершись ладонями на колени, и спросила:

– Мишка! Ты что плачешь?

– Кусается.

– Собака кусается?

– Собака кусается, и птичка кусается.

Девочка подумала и презрительно ответила:

– Дурак!

И опять Мишка остался один, ему хотелось есть, и дом был страшно далек, и не было возле близких людей, – все это было так ужасно, что он поднялся, всхлипнул и, опустившись на четвереньки, пополз куда глаза глядят. Меркулов поднял его и понес; Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на руках, сверху вниз, серьезно и самодовольно смотрел на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до самого дома не взглянул на незнакомого человека, спасшего его.

На страстной неделе Меркулов говел. Во все дни недели

он неукоснительно посещал каждую церковную службу, простаивал ее с начала до конца, покупал тоненькие восковые свечи, гнувшиеся в его грубых руках, и чувство покорности и трепетного ожидания росло в его душе. Ранним утром, когда тени от домов лежали еще через всю улицу, он шел в церковь, хрустя тонким ночным ледком, и по мере того, как он подвигался вперед мимо сонных домов, вокруг него вырастали такие же темные фигуры людей, ежившихся от утреннего холода. Как и Меркулов, они несли в церковь грехи и горе своей жизни, и много их было, и были они бедно и грязно одеты, с темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть каплю из глубокого ковша своей темной жизни, и Меркулов, оглушенный нестройным топотом их ног, охваченный лихорадкой массового неудержимого стремления, шагал все крупнее своими негнушимися журавлиными ногами. И чем ближе к церкви, тем быстрее и беспокойнее становились шаги идущего. Искоса поглядывая, не обгоняет ли кто его, Меркулов шумно входил в притвор, пугался глухого эха своих шагов по каменному звонкому полу и робко открывал тяжелую бесшумную дверь.

И за дверью встречали его холодная, торжественная тишина, подавленные вздохи и утроенное эхом гнусавое и непонятное чтение дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скрипом своих шагов, Меркулов становился на место, посреди церкви, крестился, когда

все крестились, падал на колени, когда все падали, и в общности молитвенных движений черпал спокойную силу и уверенность.

В пятницу перед исповедью Меркулов просил прощения у дочери своей, Марьи Васильевны, и у мужа ее, пьяницы Тараски. Не говевший Тараска торопливо дошивал сапоги, сосредоточенно шипя дратвой, но к тестю отнесся внимательно и на его низкий поклон ответил поклоном и покаянными словами:

– Что ж, папаша! Все мы, конечно, свиньи. Что там...

Марья Васильевна поджала тонкие губы и со взглядом в сторону неохотно ответила кланявшемуся отцу:

– Бог простит. Простите и нас, если в чем виноваты.

Злая она была и несчастная, и не прощать ей хотелось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотреть на отца: что он так благообразен, умыт и причесан, а ей некогда лица сполоснуть; что он полон каким-то неизвестным ей и приятным чувством и завтра его будут поздравлять; что он просит у нее прощения, а сам считает ее ниже себя и даже ниже пьяницы Тараски. И совсем сердито она крикнула на отца:

– Ну, иди, иди! Видишь, люди работают.

Ночью Меркулов не спал и несколько раз выходил на улицу. На всей Стрелецкой не было ни одного огонька, и звезд было мало на весеннем затуманенном небе; черными притаившимися тенями стояли низенькие молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрел Мер-

кулов: темное небо с редкими немигающими звездами, притаившиеся дома с чутко спящими людьми, острый воздух весенней ночи, – все было полно весенних неясных обещаний. И он ожидал – трепетно и покорно.

III

В обыкновенные дни, в праздники и будни, двери на церковные колокольни бывают заперты, и туда никого не пускают, но на Пасху в течение всей недели двери стоят открытыми, и каждый может войти и звонить сколько хочет – от обедни до самых вечереи. На белой колокольне Михаила-архангела, к приходу которого принадлежала Стрелецкая, толкалось в эти дни много праздного разряженного народа: одни приходили посмотреть на город с высоты, стояли у шатких деревянных перил и грызли семечки из-под полы, чтоб не заругался сторож; другие для забавы звонили, но скоро уставали и передавали веревку; и только для одного Меркулова праздничный звон был не смехом, не забавой, а делом таким серьезным и важным, в которое нужно вкладывать всю душу. Как и все, он надевал праздничное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящие сапоги, но лицо его с редкой бородкой и беззубым ртом оставалось по-великопостному строгим и замкнутым. Он не понимал, как можно на колокольне смеяться, и хмуро смотрел на скалящих зубы стрельцов, а мальчишек, которые шалили, плевали вниз, перегнувшись через перила, и, как обезьяны, лазали по лесенкам, часто гонял с колокольни и даже драл за уши.

Приходил он на колокольню самым первым, когда в церкви шла еще обедня и звонить нельзя было. Когда он еще

только входил в низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попадал во тьму и сухой холод каменных переходов, он чувствовал себя отрешенным от всего, что составляло его жизнь, и готовым к восприятию чего-то великого, радостного и таинственного, чего нельзя передать словами. На изогнутых ломаных лестницах было тихо той глубокой тишиной, которая копится сотни лет; и из темных углов, занесенных паутиной, от исцербленных кирпичей, из черных загадочных провалов глядело что-то старое, седое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрип собственных шагов, и Меркулов переступал ногами осторожно и почтительно, а на промежуточных площадках вежливо отдыхал, хотя усталости не чувствовал. Выбравшись наверх, он степенно, как в церкви, оглядывался, вытирал лоб платком и со страхом перед ожидающим его неизмеримым блаженством застенчиво осматривал большой спокойный колокол – другие, маленькие колокола, он не уважал. И тут, на высоте, было тихо – живой тишиной нежного весеннего воздуха и плывущих в яркой синеве белых облаков. На краю площадки, за перилами, где железные листы были покрыты белым птичьим пометом, ходили и ворковали голуби, и их нежный любовный говор был громче и слышнее всех тех разрозненных, надоедливых звуков, что рождались землей и ползали по ней, бессильные подняться к небу.

Кончалась обедня. Как муравьи, поднявшиеся на задние ножки, расходились по улицам прихожане, и шумной ва-

тагой, стуча деревянными ступеньками, как клавишами, на колокольню взбегали веселые стрельцы, прогоняли криком пугливых голубей, и кто-нибудь хватался за веревку большого спокойного колокола. В хвосте их, не торопясь и не волнуясь, как человек привычный, входил звонарь Семен; он тоже был в красной рубахе, от него слегка пахло водкой, как от других стрельцов, и красное лицо его с окладистой ярко-рыжей бородой широко и благосклонно улыбалось. Он подмигивал Меркулову и говорил:

– Что, кум, позвоним?

– Звоните вы, – угрюмо отвечал Меркулов и недовольно отходил к стороне, жуя губами: от волнения у него пересохло в горле и что-то покалывало в спине. Уже несколько стрельцов отмотали себе руки и ушли, потирая загоревшимися ладонями, и ушел Семен, когда Меркулов решительно оттолкнул стрельца и взялся за веревку. Он боялся обнаружить свое волнение, но руки дрожали и безудержно шевелились губы, а большой спокойный колокол задумчиво смотрел на него всем своим огромным жерлом и терпеливо ждал. И медленно начинал раскачиваться тяжелый железный язык. Он поддавался с важной и плавной медлительностью, подходил все ближе к блестящему краю колокола, почти касался его, и легкий гул уже пробежал по медному туловищу. А потом раздавался удар, первый, робкий, сорвавшийся удар, прозвучавший нерешительно и слабо, со странной мольбой о милости и прощении. И вслед за ним – второй, мощный и гулкий удар

сотряс пространство и трепетной дрожью пронизал каменную колокольню; и еще не умер он, как плавно выбежал за ним новый. И так шли они друг за другом, широкие и свободные, как закованные в железо богатыри, которых долго держали в бездейственной засаде, а теперь они выехали на сечу и железным ураганом несутся на дрогнувшего врага. Но хмурился недовольно Меркулов; в могучих и широких звуках он слышал голос холодной и жестокой меди, и не было в них того, что так нужно было его долго ждавшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все крепче тянул он податливую веревку. А другие стрельцы разобрали веревки от остальных колоколов и подняли разноголосый пестрый звон, похожий на их красные, синие и желтые рубахи, и чуткий звонарь Семен издалека услышал их. Он обходил с причтом Стрелецкую, был немного пьян и очень весел и насмешливо покачивал головой, прислушиваясь к нестройному и точно пьяному звону.

– Глянь-ка, задувают-то! Чисто кота с кошкой венчают, – говорил он псаломщику, красному от быстрой ходьбы и угощений.

Меркулов не слышал и не чувствовал этой дикой неблагозвучности, на которую издалека отозвался Семен. Он весь ушел в борьбу с медным чудовищем и все яростнее колотил его по черным бокам, – и случилось так, что вопль, человеческий вопль прозвучал в голосе бездушной меди и, содрогаясь, понесся в голубую сияющую даль. Меркулов слышал

этот вопль, и бурным ликованием наполнилась его душа.

– Ага! – сквозь стиснутые зубы промычал он. – Ага!

И новый вопль, безумно-печальный, полный страданием, как море водой, огненный и страшный, как правда – новый человеческий вопль. Точно в ужасе перед силой человека, заставившей говорить человеческим языком его бездушное тело, частою дрожью дрожал снизу доверху гигантский колокол, и покорно плакал о чуждой ему человеческой доле, и к небу возносил свои мощные мольбы и угрозы. И, сами не зная почему, стали серьезны веселые стрельцы, бросили веревки своих беззаботно тилилинькавших колоколов и хмуро, с неудовольствием на свою непонятную печаль, слушали дикий рев колокола и смотрели на обезумевшего кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащий воздух поднимал жидкие волосы на его голове, и в крепких его руках молотобойца, как перышко, ходил тяжелый железный язык.

Все мучительней и больше становились человеческие вопли покорного колокола. Меркулов звонил руками, звонил сердцем, которое судорожно и часто ворочалось в его груди; звонил всей тоской и горем изболевшейся человеческой души, одинокой и всеми забытой. Он звонил всей своей жизнью и о всей своей темной жизни звонил он – и все яростнее и требовательнее бил он железом по медным бокам. Будто разбудить он хотел кого-то, кто находится в неведомой голубой дали и спит непробудно, и не слышит, как плачет и сто-

нет земля.

– Отзовись, неведомый! – гудел и надрывался дрожащий колокол. – Отзовись, могучий и жалостливый! Взгляни на прекрасную землю: печальна она, как вдовица, и плачут ее голодные, обиженные дети. Каждый день всходит над землей солнце и в радости совершает круг свой, но весь великий свет его не может рассеять великой тьмы, которой полно страдающее сердце человека. Потеряна правда жизни, и во лжи задыхаются несчастные дети прекрасной земли. Отзовись, неведомый! Отзовись, могучий и жалостливый!

Руки кузнеца не знают устали. Все громче и громче бьет он по черным бокам, и бурно рыдает звенящая медь:

– Отзовись!

Стрельцы задумались и не смотрят друг на друга. Один отворотил полу поддевки, чтобы достать табаку, и так и остался: рот его изумленно открыт, и глаза со страхом и надеждой следят за тяжело порхающим железным языком, а узкий листик газетной бумаги, приготовленный для сигарки, беспомощно треплется по ветру. Другой – руками и грудью лег на деревянные перила, смотрит вниз, но не замечает ничего: ни плоских крыш, точно лежащих на земле, ни блестящей на солнце реки. Что-то знакомое слышит он в рыдающем голосе колокола, знакомое и печальное: так плакала мать когда-то, так плакал он сам. И теперь ему хочется плакать.

– Отзовись же! Отзовись!

В самом конце Стрелецкой прислушивается к колоколу

Семен. Он склонил голову набок и неодобрительно покачивает ею. Потом нагоняет о. Андрея и говорит:

– Батюшка, а батюшка! А колокол-то с трещинкой. Давно уже вам говорил, а вы все не верите. Послушайте!

И, наклонив головы, они слушают, а веселое солнце бьет им прямо в глаза и зажигает огнем золотой наперсный крест.

IV

И всегда Меркулов не любил глядеть понизу, а во все дни светлой недели он носил голову немного назад и смотрел поверх лбов. И всю неделю он был трезв, каждое утро от обеда до вечерни звонил на колокольне Михаила-архангела, а после вечерни или сидел у звонаря Семена, или на десяток верст уходил в поле. И домой возвращался только ночью.

На третий день, незадолго до вечерни, на колокольню пришел Семен. Уставший Меркулов отдыхал, и звонил горбатый портной Снегирь, звонил бестолково и нудно, извлекая из колокола нерешительные, дребезжащие звуки.

– Пусти-ка! – сказал Семен.

Застенчиво улыбаясь, портной пустил веревку и стал в сторонке, заложив руки назад, под горб.

– Вот, кум, послушай: я тебе покажу, как надо звонить, – обратился звонарь к Меркулову. – Не по-вашему!

– Что ж, покажи, – высокомерно согласился Меркулов.

Семен забрал между пальцев веревки от маленьких колоколов, стал ногой на доску, приводившую в движение средний колокол, и приказал горбтому:

– Валяй, звони: пореже да покрепче. За совесть.

Слабосильный портной, улыбаясь и бледнея от натуги, еще раскачивал неподатливый язык, когда в руках Семена уже заговорили нежные и мягкие колокольчики. Они слов-

но смеялись, как дети, торопливо бежали, кружились и разбегались, и с ними засмеялся теплый воздух, светло улыbnулась старая колокольня, и невольная улыбка прошла по сухому лицу Меркулова. Ясным, как небо, весельем дышали гармоничные звуки, и, путаясь среди их звонких голосов, как взрослый среди играющих детей, мягким баритоном поддакивал средний колокол.

– Да! Да! Да!

– Вот весело! Вот весело! – звенели дети.

– Да! Да! Да! – добродушно соглашался колокол.

И так это было красиво, так беззлобно и светло, что Меркулов хлопнул себя в восторге руками по бедрам, и непривыкшее к смеху лицо его превратилось в странный комок морщин, среди которых совсем пропали черные беспокойные глаза. Семен метнул в него косым пытливым взглядом и уверенно, со строгим и странно-холодным лицом, бросил в воздух такой яркий сноп вызывающе-радостных и певучих звуков, что по горбу слабосильного портного пробежала зыбкая дрожь, и внизу на площади остановились двое прохожих и подняли головы кверху. И большой колокол, который не принуждали больше издавать дикие страдальческие вопли, спокойно отдыхал в густых и мерных ударах, торжественно плывущих в голубую сияющую даль. И так говорили они, веселые колокола:

– Взгляни на прекрасную землю: радостна она, как молодая мать, и ликует под солнцем рожденное ею. Над далеким

полем проносятся в вышине наши голоса, и в небе им отвечает жаворонок, а на земле блестящие ручьи. Ты слышишь их хрустальный звон? По межам, по оврагам бегут они и прорывают черные ходы под снегом и каскадом падают в реку. Вот одни из них маленькие, и жизнь их короткая, от бугорка до ближайшей ямы, робко и нежно звенят они, и много чистой радости в их нежном лепете. Вот другие по оврагам, глубокие, бурливые, они поднимают со дна желтую глину, подмывают черный снег и обломки его несут на вольный простор реки. Силой и буйной удалью звучат их голоса, и громкой песней освободившейся земли издали перекликаются они. Взгляни на землю: прекрасна она, как молодая мать, и радуется под солнцем рожденное ею. Ты слышишь, как растет зеленая трава и лопаются весенние почки? Вот правда жизни.

Семен кончил. Задохнувшийся горбун прижимал к уродливой груди костлявые длинные пальцы и улыбался; внизу собрался народ и тянул головы кверху; и, победоносно вскинув рыжую бороду, звонарь обернулся к Меркулову. Тот стоял на своих длинных негнущихся ногах боком к колоколам – в позе непреклонного и гордого протеста – и смотрел поверх Семеновой головы.

– Вот как по-нашему, – сказал Семен. – Здорово, кум?

Меркулов пожевал беззубым ртом, обвел взором колокола, балки, на которых они висели, презрительно с ног до головы измерил горбуна и ответил:

– Конечно, вы мастер, Семен Савельевич. Однако насто-

ящего звуку у вас нет.

– То-то у тебя есть, – покровительственно засмеялся Семен. – словно баба палкой по дырявому чугуну бьет. Тоже!

После вечерни Меркулов не пошел домой, а остался у звонаря. Семен пил водку, которую из непонятного чувства долга ежедневно покупал ему Меркулов, потом дома пил чай и, когда солнце уже заходило, позвал молчаливого гостя посидеть на лавочке. Верх белой колокольни еще горел золотом весеннего заката, а внизу уже ложились прозрачные тени, и от каменных стен веяло холодом ночи. Оба молчали, оба курили и внимательно следили за дымом махорки; и дым этот, синий, пахучий, медленно волновался и таял и резче оттенял свежесть и запах весеннего воздуха. Семен не любил долго молчать, ему становилось скучно и вяло, слово за словом, он начинал рассказывать что-то неинтересное о своей службе в церкви, о восковых огарках и характере ктитора, купца Авдунова. О колоколах и звоне он ничего не говорил. Меркулов, чувствовавший позади себя безмолвную таинственную колокольню, хмурился и нетерпеливо ждал момента, когда Семен заговорит о настоящем, о чем нужно и интересно говорить. И, не в силах дожидаться, перебивал звонаря:

– Хорошо вы звоните, Семен Савельич.

Когда Меркулов говорил с ним о житейском и обыкновенном, то называл его «ты» и «Семен», а когда разговор заходил о звоне и колоколах, переходил на «вы» и величал звонаря по отчеству.

– Звоню хорошо, это верно, – согласился Семен. – Но ведь и то сказать: наука.

– Не всякому оно дано.

– Конечно, не всякому, – подтвердил звонарь. – Ухо тоже надо иметь хорошее, чтобы понимать. А то такого кота пустит – ай папаша и мамаша.

Меркулов помолчал.

– Однако вы меня извините, но настоящего у вас нету, – заметил он.

– Звону?

– Звону.

Семен улыбнулся. Он мало думал о том, как он звонит, но знал от людей, что звон у него хороший и веселый; знал и то, что сердце у него радуется, когда он берется за веревку.

– Отец Андрей говорит: «Когда, говорит, Семен, ты звонишь, у меня на столе стаканы пляшут».

– А душа? – спросил Меркулов.

– Что душа?

– Вот, скажем, у меня дочь, Марья, Марья Васильевна. И муж ее ногой по пузу, а она и скинула. Это как же? Так и оставить?

Но Семену не хотелось продолжать скучного разговора о Марье. И он тихонько засвистал, подняв кверху рыжую бороду и обводя ищущими глазами светлое небо, на котором не умер еще день, но уже скоро должны были загореться серебряные звезды. Замолчал и Меркулов и долго сидел так,

сердито жуя губами. Потом лицо его просветлело, и он сказал:

– Хорошо на заре звонить, когда все спят. Бухнуть, чтобы все с постелей повскакали.

Семен приостановил свист и, продолжая обыскивать глазами небо, равнодушно спросил:

– А ты слышишь, когда к утрене звонят?

– Нет.

– То-то. И никто не слышит.

Меркулов хотел возразить, но, посмотрев на Семена, на его рыжую бороду, равнодушно торчавшую кверху, сурово сказал:

– Прощай!

Когда Меркулов вышел за шлагбаум, на шоссе уже стало темнеть, и звезды, сперва большие и светлые, как серебряные пяточки, сделались острые и яркие и точно смотрели на землю. Отойдя версты две, Меркулов сел на круглый верстовой камень, торчавший из земли, и тяжело задумался – задумался без мыслей, без слов, той глубокой и странной думой всего тела, которая оковывает человека, как сон. Он тяжело вздыхал и не слышал своих вздохов; доставал табак, делал папиросы и курил – и не замечал этого. Мимо него, сонно погромыхая, проехала телега; по бокам шоссе, в невидимом поле дремотно звенели ручьи, отдохавшие в холодке от дневной спешной работы, – он не видел телеги, не слышал ручьев. И когда он встал и изумленно оглянулся, не зная, за-

чем попал сюда, в его душе уже совершалась какая-то сложная, загадочная работа, и сердцу стало легко и радостно.

«Дурак Сенька, даром что Савельич!» – подумал он с усмешкой, бодро шагая к городу на своих негнущихся ногах. Он вспомнил, как рыдал сегодня в его руках большой спокойный колокол и в клочья раздирал голубую даль своим призывным страстным кличем – и так весело сделалось ему, что он не выдержал и засмеялся одиноким сухим смешком, странно прозвучавшим среди ночи и поля. Оно было здесь; оно было в нем и вокруг него, а все, что было раньше, – ушло куда-то, и его нет, и о нем не нужно думать. И так светло в его голове, как в церкви на Пасху, когда у каждого горит в руках восковая свечка.

– Дурак Сенька! – повторил он вслух и снова засмеялся.

В субботу Меркулов звонил в последний раз и, когда Семен почти насильно отнял у него веревку, был бледен от усталости и волнения, и колени его дрожали.

– погоди, постой, – бессмысленно просил он звонаря, осторожно двумя пальцами касаясь его плеча. – Еще надо. Я разок. Потому, еще надо.

Звонарь молча, с неодобрением оттолкнул его, и Меркулов жадными глазами простился с колоколом и ушел. А в воскресенье утром проснулся радостный и бодрый и долго отказывался понять, что ему некуда и незачем идти. Как долго путешествовавший человек, у которого в пути было много приключений, он с любопытством и приязнью рассматри-

вал кривые стены и черный потолок – и не нашел в них, чего искал. Потом пошел в кузницу, потрогал пальцем холодную золу на горне, зачем-то плюнул и с интересом рассматривал плевок, свернувшийся шариком в мягком пепле. Потом пошел и попробовал столб: один качался. Так целое утро слонялся он из хаты в кузницу; долго ходил по своему чахлому садику, где бесприютно торчали голые и как будто сухие прутья малины, и ходил на Стрелецкую смотреть, как дрались из-за гармонии две компании пьяных стрельцов.

А в два часа, когда от безделья он лег спать, его разбудил женский визг, и перед испуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себе уже разорванное мужем платье и бессмысленно кружилась по хате, тыкаясь в углы. Крику у нее уже не было, а только дикий визг, в котором трудно было разобрать слова.

– Ой, убил!

Меркулов кружился вместе с ней, но не мог схватить ее: у нее была ушиблена голова, она ничего не понимала и в диком ужасе царапалась ногтями и выла. Левый глаз у нее был выбит каблуком.

К вечеру Меркулов был пьян, подрался с зятем Тараской, и их обоих отправили в участок. Там их бросили на асфальтовый грязный пол, и они заснули пьяным мертвецким сном, рядом, как друзья; и во сне они скрипели зубами и обдавали друг друга горячим дыханием и запахом перегорелой водки.